

Мечты

Двое сотских один чернобородый, коренастый, на необыкновенно коротких ножках, так что если взглянуть на него сзади, то кажется, что у него ноги начинаются гораздо ниже, чем у всех людей, другой длинный, худой и прямой, как палка, с жидкой бородашкой темно-рыжего цвета, конвоируют в уездный город бродягу, не помнящего родства. Первый идет вразвалку, глядит по сторонам, жует то соломинку, то свой рукав, хлопает себя по бедрам и мурлычет, вообще имеет вид беспечный и легкомысленный; другой же, несмотря на свое тощее лицо и узкие плечи, выглядит солидным, серьезным и основательным, складом и выражением всей своей фигуры походит на старообрядческих попов или тех воинов, каких пишут на старинных образах; ему за мудрость бог лба прибавил, т. е. он плешив, что еще больше увеличивает помянутое сходство. Первого зовут Андрей Птаха, второго Никандр Сапожников.

Человек, которого они конвоируют, совсем не соответствует тому представлению, какое имеется у каждого о бродягах. Это маленький, тщедушный человек, слабосильный и болезненный, с мелкими, бесцветными и крайне неопределенными чертами лица. Брови у него жиденькие, взгляд покорный и кроткий, усы еле пробиваются, хотя бродяга уже перевалил за 30. Он шагает несмело, согнувшись и засунув руки в рукава. Воротник его не мужицкого, драпового с потертой ворсой пальтишка приподнят до самых краев фуражки, так что только один красный носик осмеливается глядеть на свет божий. Говорит он заискивающим тенорком, то и дело покашливает. Трудно, очень трудно признать в нем бродягу, прячущего свое родное имя. Скорее это обнищавший, забытый богом попович-неудачник, прогнанный за пьянство писец, купеческий сын или племянник, попробовавший свои жидкие силишки на актерском поприще и теперь идущий домой, чтобы разыграть последний акт из притчи о блудном сыне; быть может, судя по тому тупому терпению, с каким он борется с осеннею невылазной грязью, это фанатик монастырский служба, шатающийся по русским монастырям, упорно ищущий жития мирна и безгрешна и не находящий...

Путники давно уже идут, но никак не могут сойти с небольшого клочка земли. Впереди них сажень пять грязной, черно-бурой дороги, позади столько же, а дальше, куда ни взглянешь, непроглядная стена белого тумана. Они идут, идут, но земля всё та же, стена не ближе и клочок остается клочком. Мелькнет белый, угловатый булыжник, буерак или охапка сена, оброненная проезжим, блеснет ненадолго большая мутная лужа, а то вдруг неожиданно

впереди покажется тень с неопределенными очертаниями; чем ближе к ней, тем она меньше и темнее, еще ближе и перед путниками вырастает погнувшийся верстовой столб с потертой цифрой или же жалкая березка, мокрая, голая, как придорожный нищий. Березка пролепечет что-то остатками своих желтых листьев, один листок сорвется и лениво полетит к земле... А там опять туман, грязь, бурая трава по краям дороги. На траве виснут тусклые, недобрые слезы. Это не те слезы тихой радости, какими плачет земля, встречая и провожая летнее солнце, и какими поит она на заре перепелов, дергачей и стройных, длинноносых кроншнепов! Ноги путников вязнут в тяжелой, липкой грязи. Каждый шаг стоит напряжения. Андрей Птаха несколько возбужден. Он оглядывает бродягу и силится понять, как это живой, трезвый человек может не помнить своего имени.

Да ты православный? спрашивает он.

Православный, кротко отвечает бродяга.

Гм!.. стало быть, тебя крестили?

А то как же? Я не турок. И в церковь я хожу, и говею, и скоромного не кушаю, когда не велено. Леригию я исполняю в точности...

Ну, так как же тебя звать?

А зови как хочешь, парень.

Птаха пожимает плечами и в крайнем недоумении хлопает себя по бедрам. Другой же сотский, Никандр Сапожников, солидно молчит. Он не так наивен, как Птаха, и, по-видимому, отлично знает причины, побуждающие православного человека скрывать от людей свое имя. Выразительное лицо его холодно и строго. Он шагает особняком, не снисходит до праздной болтовни с товарищами и как бы старается показать всем, даже туману, свою степенность и рассудительность.

Бог тебя знает, как об тебе понимать надо, продолжает приставать Птаха.

Мужик не мужик, барин не барин, а так, словно середка какая... Намеднись в пруде я решета мыл и поймал такую вот, с палец, гадючку с зебрами и хвостом. Спервоначалу думал, что оно рыба, потом гляжу чтоб ты издохла! лапки есть. Не то она рыбина, не то гадюка, не то чёрт его разберет, что оно такое... Так вот и ты... Какого ты звания?

Я мужик, крестьянского рода, вздыхает бродяга. Моя маменька из крепостных дворовых были. С виду я не похож на мужика, это точно, потому мне такая судьба вышла, добрый человек. Моя маменька при господах в нянюшках жили и всякое удовольствие получали, ну, а я плоть и кровь ихняя, при них состоял в господском доме. Нежили оне меня, баловали и на ту точку били, чтоб меня из простого звания в хорошие люди вывести. Я на кровати спал, каждый день настоящий обед кушал, брюки и полусапожки носил на манер какого дворянчика. Что маменька сами кушали, тем и меня кормили; им господа на

платье подарят, а оне меня одевают... Хорошо жилось! Сколько я конфетов и пряников на своем ребячьем веку перекушал, так это ежели теперь продать, можно хорошую лошадь купить. Грамоте меня маменька обучили, страх божий сызмальства внушили и так меня приспособили, что я теперя не могу никакого мужицкого, неделикатного слова сказать. И водки, парень, не пью, и одеваюсь чисто, и могу в хорошем обществе себя содержать в приличном виде. Коли еще живы, то дай бог им здоровья, а ежели померли, то упокой, господи, их душечку в царствии твоём, идеже праведные упокоются!

Бродяга обнажает голову с торчащей на ней редкой щетинкой, поднимает кверху глаза и осеняет себя дважды крестным знаменiem.

Пошли ей, господи, место злачно, место покойно! говорит он протяжным, скорее старушечьим, чем мужским голосом. Научи ее, господи, рабу твою Ксению, оправданием твоим! Ежели б не маменька любезная, быть бы мне в простых мужиках, без всякого понятия! Теперя, парень, о чем меня ни спроси, я всё понимаю: и светское писание, и божественное, и всякие молитвы, и катихизиц. И живу по писанию... Людей не забираю, плоть содержу в чистоте и целомудрии, посты соблюдаю, кушаю во благовремени. У другого какого человека только и есть удовольствия, что водка и горлобесие, а я, коли время есть, сяду в уголке и читаю книжечку. Читаю и всё плачу, плачу...

Чего ж ты плачешь?

Пишут жалостно! За иную книжечку пяточок дашь, а плачешь и стенаешь до чрезвычайности.

Отец твой помер? спрашивает Птаха.

Не знаю, парень. Не знаю я своего родителя, нечего греха таить. Я так об себе рассуждаю, что у маменьки я был незаконнорожденное дитё. Моя маменька весь свой век при господах жили и не желали за простого мужика выйтить...

И на барина налетела, усмехается Птаха.

Не соблюли себя, это точно. Были оне благочестивые, богобоязненные, но девства не сохранили. Оно, конечно, грех, великий грех, что и говорить, но зато, может, во мне дворянская кровь есть. Может только по званию я мужик, а в естестве благородный господин.

Говорит всё это благородный господин тихим, слащавым тенорком, морща свой узенький лобик и издавая красным, озябшим носиком скрипящие звуки. Птаха слушает, удивленно косится на него и не перестает пожимать плечами. Пройдя верст шесть, сотские и бродяга садятся на бугорке отдохнуть.

Собака и та свою кличку помнит, бормочет Птаха. Меня звать Андрюшка, его Никандра, у каждого человека свое святое имя есть и никак это имя забыть нельзя! Никак!

Кому какая надобность мое имя знать? вздыхает бродяга, подпирая кулачком щеку. И какая мне от этого польза? Ежели б мне дозволили идти, куда я хочу,

а то ведь хуже теперешнего будет. Я, братцы православные, знаю закон. Теперя я бродяга, непомнящий родства, и самое большее, ежели меня в Восточную Сибирь присудят и 30 не то 40 плетей дадут, а ежели я им свое настоящее имя и звание скажу, то опять они меня в каторжную работу пошлют. Я знаю!

А нешто ты был в каторжной работе?

Был, друг милый. Четыре года с бритой головой ходил и кандалы носил.

За какое дело?

За душегубство, добрый человек! Когда я еще мальчишкой был, этак годов восемнадцати, маменька моя по нечаянности барину заместо соды и кислоты мышьяку в стакан всыпали. Коробок разных в кладовой много было, перепутать не трудно...

Бродяга вздыхает, покачивает головой и говорит:

Они благочестивые были, но кто их знает, чужая душа дремучий лес! Может, по нечаянности, а может не могли в душе своей той обиды стерпеть, что барин к себе новую слугу приблизил... Может, нарочно ему всыпали, бог знает! Мал я был тогда и не понимал всего... Теперь я помню, что барин, действительно, взял себе другую наложницу и маменька сильно огорчались. Почитай, нас потом года два судили... Маменьку осудили на каторгу на 20 лет, меня за мое малолетство только на 7.

А тебя за что?

Как пособника. стакан-то барину я подавал. Всегда, так было: маменька приготавливали соду, а я подавал. Только, братцы, всё это я вам по-христиански говорю, как перед богом, вы никому не рассказывайте...

Ну, нас и спрашивать никто не станет, говорит Птаха. Так ты, значит, бежал с каторги, что ли?

Бежал, друг милый. Нас человек четырнадцать бежало. Дай бог здоровья, люди и сами бежали, и меня с собой прихватили. Теперь ты рассуди, парень, по совести, какой мне резон звание свое открывать? Ведь меня опять в каторгу пошлют! А какой я каторжник? Я человек нежный, болезненный, люблю в чистоте и поспать и покушать. Когда богу молюсь, я люблю лампадочку или свечечку засветить, и чтоб кругом шуму не было. Когда земные поклоны кладу, чтоб на полу насорено и наплевано не было. А я за маменьку сорок поклонов кладу утром и вечером.

Бродяга снимает фуражку и крестится.

А в Восточную Сибирь пущай ссылают, говорит он: я не боюсь!

Нешто это лучше?

Совсем другая статья! В каторге ты всё равно что рак в лукошке: теснота, давка, толчея, духу перевести негде сущий ад, такой ад, что и не приведи царица небесная! Разбойник ты и разбойничья тебе честь, хуже собаки

всякой. Ни покушать, ни поспать, ни богу помолиться. А на поселении не то. На поселении перво-наперво я к обществу припишусь на манер прочих. По закону начальство обязано мне пай дать... да-а! Земля там, рассказывают, нипочем, всё равно как снег: бери сколько желаешь! Дадут мне, парень, землю и под пашню, и под огород, и под жилье... Стану я, как люди, пахать, сеять, скот заведу и всякое хозяйство, пчелок, овецек, собак... Кота сибирского, чтоб мыши и крысы добра моего не ели... Поставлю сруб, братцы, образов накоплю... Бог даст, оженюсь, деточки у меня будут.

Бродяга бормочет и глядит не на слушателей, а куда-то в сторону. Как ни наивны его мечтания, но они высказываются таким искренним, душевным тоном, что трудно не верить им. Маленький ротик бродяги перевернуто улыбкой, а всё лицо, и глаза, и носик застыли и оступели от блаженного предвкушения далекого счастья. Сотские слушают и глядят на него серьезно, не без участия. Они тоже верят.

Не боюсь я Сибири, продолжает бормотать бродяга. Сибирь такая же Россия, такой же бог и царь, что и тут, так же там говорят по-православному, как и я с тобой. Только там приволья больше и люди богаче живут. Всё там лучше. Тамошние реки, к примеру взять, куда лучше тутошних! Рыбы, дичины этой самой видимо-невидимо! А мне, братцы, наипервейшее удовольствие рыбку ловить. Хлебом меня не корми, а только дай с удочкой посидеть. Ей-богу. Ловлю я и на удочку, и на жерлицу, и верши ставлю, а когда лед идет наметкой ловлю. Силы-то у меня нету, чтоб наметкой ловить, так я мужика за пятачок нанимаю. И господи, что оно такое за удовольствие! Поймаешь налима или голавля какого-нибудь, так словно брата родного увидел. И, скажи пожалуйста, для всякой рыбы своя умственность есть: одну на живца ловишь, другую на выползка, третью на лягушку или кузнечика. Всё ведь это понимать надо! К примеру сказать, налим. Налим рыба неделикатная, она и ерша хватит, щука пескаря любит, шилишпер бабочку. Голавля, ежели на бырком месте ловить, то нет лучше и удовольствия. Пустишь леску саженой в десять без грузила, с бабочкой или с жуком, чтоб приманка поверху плавала, стоишь в воде без штанов и пускаешь по течению, а голавль дерг! Только тут так норовить надо, чтоб он, проклятый, приманку не сорвал. Как только он джигнул тебе за леску, так и подсекай, нечего ждать. Страсть, сколько я на своем веку рыбы переловил! Когда вот в бегах были, прочие арестанты спят в лесу, а мне не спится, норовлю к реке. А реки там широкие, быстрые, берега крутые страсть! По берегу всё леса дремучие. Деревья такие, что взглянешь на маковку и голова кружится. Ежели по тутошним ценам, то за каждую сосну можно рублей десять дать.

Под беспорядочным напором грез, художественных образов прошлого и сладкого предчувствия счастья жалкий человек умолкает и только шевелит

губами, как бы шепчась с самим собой. Тупая, блаженная улыбка не сходит с его лица. Сотские молчат. Они задумались и поникли головами. В осеннюю тишину, когда холодный, суровый туман с земли ложится на душу, когда он тюремной стеною стоит перед глазами и свидетельствует человеку об ограниченности его воли, сладко бывает думать о широких, быстрых реках с привольными, крутыми берегами, о непроходимых лесах, безграничных степях. Медленно и покойно рисует воображение, как ранним утром, когда с неба еще не сошел румянец зари, по безлюдному, крутому берегу маленьким пятном пробирается человек; вековые мачтовые сосны, громогласящие террасами по обе стороны потока, сурово глядят на вольного человека и угрюмо ворчат; корни, громадные камни и колючий кустарник заграждают ему путь, но он силен плотью и бодр духом, не боится ни сосен, ни камней, ни своего одиночества, ни раскатистого эхо, повторяющего каждый его шаг. Сотские рисуют себе картины вольной жизни, какою они никогда не жили; смутно ли припоминают они образы давно слышанного, или же представления о вольной жизни достались им в наследство вместе с плотью и кровью от далеких вольных предков, бог знает!

Первый прерывает молчание Никандр Сапожников, который доселе не проронил еще ни одного слова. Позавидовал ли он призрачному счастью бродяги или, может быть, в душе почувствовал, что мечты о счастье не вяжутся с серым туманом и черно-бурой грязью, но только он сурово глядит на бродягу и говорит:

Так-то оно так, всё оно хорошо, только, брат, не доберешься ты до привольных мест. Где тебе? Верст триста пройдешь и богу душу отдашь. Вишь ты какойдохлый! Шесть верст прошел только, а никак отдышаться не можешь!

Бродяга медленно поворачивается в сторону Никандра, и блаженная улыбка исчезает с его лица. Он глядит испуганно и виновато на степенное лицо сотского, по-видимому, припоминает что-то и поникает головой. Опять наступает молчание... Все трое думают. Сотские напрягают ум, чтобы обнять воображением то, что может вообразить себе разве один только бог, а именно то страшное пространство, которое отделяет их от вольного края. В голове же бродяги теснятся картины ясные, отчетливые и более страшные, чем пространство. Перед ним живо вырастают судебная волокита, пересыльные и каторжные тюрьмы, арестантские барки, томительные остановки на пути, студёные зимы, болезни, смерти товарищей...

Бродяга виновато моргает глазами, вытирает рукавом лоб, на котором выступают мелкие капли, и отдувается, как будто только что выскочил из жарко натопленной бани, потом вытирает лоб другим рукавом и боязливо оглядывается.

И впрямь тебе не дойти! соглашается Птах. Какой ты ходок? Погляди на

себя: кожа да кости! Умрешь, брат!

Известно, помрет! Где ему! говорит Никандр. Его и сейчас в гошпиталь положут... Верно!

Непомнящий родства с ужасом глядит на строгие, бесстрастные лица своих зловещих спутников и, не снимая фуражки, выпучив глаза, быстро крестится... Он весь дрожит, трясет головой, и всего его начинает корчить, как гусеницу, на которую наступили...

Ну, пора идти, говорит Никандр, поднимаясь. Отдохнули!

Через минуту путники уже шагают по грязной дороге. Бродяга еще больше согнулся и глубже засунул руки в рукава. Птаха молчит.